

## Денис ЛИПАТОВ

Родился в 1978 году в Горьком. Окончил инженерно-физико-химический факультет Нижегородского государственного технического университета. Работает инженером в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Автор книги стихов «Другое лето» (2015) и сборника рассказов «Науки юношей» (2018). Стихи и проза печатались в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «День и ночь», «Волга», «Урал» и других периодических изданиях. Лауреат премии журнала «Нижний Новгород».

Живет в Нижнем Новгороде

## МОНГОЛЬСКАЯ ПОВЕСТЬ

### 1

Осень он помнил хорошо. Запустение, крики зябнувших журавлей, серое тяжёлое небо. И временами, по утрам, первая налесь на траве, и – словно дым над студёной рекою – прозрачный лес в немом полузабытье. Кажется, сейчас он подёрнется, поплывёт, зазвенит слезинками, разлетится паутинками, а эта тяжёлая взвесь, что с утра висит в небе, сквозит в соснах – туман, мелкая морось, осклизлая грибная сырость в воздухе и под ногами, далёкие оклики журавлей, холодный свинцовый ветер где-то высоко-высоко перекаत्याвающий, словно Сизиф, набухшие обидой тучи – всё это вместе – вдруг уместается в один единственный вдох и растворяет тебя изнутри в этом необозримом просторе, в этой грибнице и матрице, в неосознанной, но совершенно необходимой грусти, которая совсем не тяготит сердце, а напротив, освежает его, молодит.

«Предзимье...» – вздыхает старик, а его спутник смотрит, старается понять и эти вздохи, и какие-то другие непонятные слова, которые не обращены ни к нему, ни к кому бы то ни было вообще, а так...

Он заглядывает старику в глаза, юлит, поскуливает, упирается тёплыми боками ему в ноги. Его глаза тоже немного слезятся, так же, как и глаза деда, так же, как и этот призрачный утренний лес. Хозяин, присев рядом, кряжистой, почерневшей рукой треплет его по загривку, по спине, и спешное дыхание пса обдаёт его тёплой и кислой вонью, доверчивым животным духом, бесхитростным пёсым счастьем. Старику даже кажется, что у него получится на мгновение забыться и неотступный кошмар, который мучает его каждую ночь и в котором он стреляет в спину человеку, уезжающему от него верхом по степи во главе неболь-

шого отряда, и всё время промахивается, наконец-то уйдёт, оставит его. Старик уже не помнит, за что он пытается убить того человека, что он ему сделал, но каждый раз, когда он промахивается, слёзы душат его во сне, и он бессильно стучит по земле руками, отшвыривает винтовку, а песок набивается ему в глаза, в уши и рот.

## 2

Здесь, на западе, осень была совсем другая, чем она была там, на востоке. Здесь она была завершением и обещанием, а там... На востоке осень – была сухая и холодная, будто некая древняя азиатская болезнь. Холера, что ли... или чума?.. Злая и бесплодная старуха, которой вот-вот умирать, и которая ничего не обещает, и после которой ничего уже не останется. Сухой жгучий ветер приносит песок, болезни и смерть. Страна была разорена. И никто уже не помнит, когда всё это началось, никто уже не ждёт, что когда-нибудь всё это переменится или закончится. Лютая зима монгольских степей, ядовитые эти ковыли – проглотят, кого хочешь. Человек, сам по себе, здесь погибает. Выживает только стадо, орда. Поэтому древние напевы скотоводов – сухие, как соль, жгучие, как песок, долгие, как степь, – полны смутной памяти о Чингисхане.

Но Чингисхан давно умер. Его могучая и дикая империя распалась, измельчала, оставшись в памяти одних народов, как древнее полустёртое тавро, а в памяти другого – счастливым золотым веком, временем могущества и весёлого, дикого владычества над миром, когда все народы – от моря и до моря – платили дань, и кумыс лился рекой. Тогда было много всего: мяса, шерсти, кумыса, рабынь, золота. Вся степь была им и пастбище и стойбище, а весь остальной мир был поделён на улусы, хотя ещё, может быть, и не догадывался об этом.

Теперь же бедные правнуки Чингисхана, робкие осиротевшие монголы, ютятся в холодных юртах, где-то в глубине степей, среди бесплодных солончаков и горьких ковылей, со страхом произносят слово «город» и смутно догадываются, что произошло в мире что-то непоправимое, навсегда изменившее их судьбу, и другие хозяева теперь во Вселенной.

## 3

Нехлебов – вот фамилия героя. Я произношу её один раз, другой, третий, переворачивая и так и эдак, перекатывая на языке, словно хлебный мякиш. Её звучание переливается какой-то кислинкой и зеленоватым оттенком: цвета плесени на куске старого, затхлого, чёрного хлеба. И неудивительно – передо мною характер чёрствый, сухой и скрытный. Надменность и одиночество, снисходительное презрение к окружающим – с чего бы, кстати? – главные его черты. И откуда столько гонора? В нём, человеке, знавшем о своих предках только то, что и деды, и прадеды, и прапрадеды его пахали землю и в каком-то поколении, то ли в череду неурожайных лет, то ли в силу какого-то другого несчастья, а может, и просто из-за нерадивости хозяина, когда не родился хлеб и нечем было ни заплатить оброк, ни прокормить семью, один из них и получил это странное и даже унижительное и насмешливое для крестьянина прозвание, пошедшее из рода в род, как отметина о негодности и выморочности, с кривой такой ухмылочкой и косым, сквозь щербатые зубы плевком – а, известная порода, пустая – Нехлебовы.

Давно замечено, что если какое-то слово произносить много-много раз, учащая темп и доходя почти до скороговорки, то можно услышать его как бы «со стороны», как его слышит иностранец – ну, например, монгол, – которому наш язык непонятен, а может быть, даже кажется враждебным. Тогда слово, как будто скидывает с себя обиходную одежду современных смыслов и на некоторое время становится просто набором звуков. Если же продолжать до тех пор, пока язык не станет заплетаться, сбиваясь с нужных звуков, то иногда можно расслышать своеобразное пра-слово, слово-эмбрион, пра-значения исходного слова, то, из чего оно выросло: чувства, понятия, страхи, наития, предметы, которых, может быть, уже давно и нет. Тогда, словно в сепараторе, разделяются те значения, которые слово должно было выразить изначально, и те, что были привнесены позже, намешаны, нашептаны за многие поколения, и более древние смыслы оседают тяжёлыми фракциями где-то на корне языка и в гортани, а новые испаряются к небу и конденсируются там легковесными каплями, молодой брагой.

Ну, например, если долго-долго произносить Темучин-Темучин-Темучин – имя Чингисхана – Темучин-Темучин-Темучин – когда он ещё не был Чингисханом – Темучин-Темучин-Темучин – а был простым нукером – Темучин-Темучин-Темучин – то я, например, помимо ритма бешеной скачки, неказистой степной джигитовки, слышу ещё – мучитель, тьма, темница – Темучин.

## 5

Но сейчас мне интереснее мой герой, а не Темучин. Кто он такой, откуда взялся? Что он делает здесь, во главе небольшого отряда, пробирающегося потаёнными тропами кочевников сквозь бесконечные степи, степи, степи, солончаки и ковыли, и опять солончаки в глухие просторы самой недосыгаемой, запретной и неприветливой страны Азии – Внутренней Монголии. Небо здесь сухое и жёсткое днём, а ночью – беспощадное и холодное. И только странная степная река Керулен вьётся вокруг, словно огромная змея – то приблизится, то снова уползёт гуда-то в сторону, в высокую траву, то вдруг вновь покажется среди холмов, будто проверяет, все ли ещё живы, все ли ещё тут, а то вновь скроется среди ковылей и колючек, и кажется, что этот шум, похожий на шорох, – это и не шум воды вовсе, не течение реки, а сухая змеиная чешуя шуршит о камни или траву.

## 6

Тринадцатый век затянулся на восемьсот лет. Где-то в конвульсиях мировой войны и припадках революций содрогается Европа, в России какие-то люди ходят с красными флагами, говорят на тарабарском языке и свергают правительства, в Америке под сверкающие белозубые улыбки джазовых негритянских оркестров поднимаются небоскрёбы и гудят клаксонами автомобилей двадцатые годы, в Японии хитро улыбаются, хлопают в ладошки и отстраивают заново флот, Китай приходит в себя от опиумного дурмана и с удивлением озирается вокруг... а здесь?.. А здесь, как и восемьсот лет назад, есть только степь, Кол-Звезда в небе, верблюжье молоко, ветер, пронизывающий так, что кажется, кости у

тебя – полые, и он гудит в них, выдувая соль, песок, юность, любовь, старость. Всю жизнь ветер. И ещё где-то есть Чингисхан. В любое время он может призвать воинов, собрать свои тумены и снова двинуть их, словно пятерню, на континент. И они будут брать город за городом – Пекин, Москву, Багдад, Варшаву, Берлин... Хотя они даже не будут интересоваться названиями этих городов, всё равно для них слишком трудными и почти непроизносимыми, да и потом зачем? Все руины выглядят одинаково.

Тринадцатый век затянулся на восемьсот лет. Правда, иногда приходят какие-то люди, говорящие на тарабарском языке, тычут пальцами в какие-то книжки с непонятными значками, толкуют о какой-то новой жизни, партии, революции. Все эти слова совершенно незнакомы и бесполезны. И если бы не кое-что необходимое и удобное – чай, спички, табак, соль, патроны и ружья, – что эти люди привозили с собой и отдавали взамен того, что их слушают, то их бы просто убивали. Так зачем они приходят? Зачем мы идём туда, всё дальше и дальше? Для чего весь этот путь?

Усталость. Гнетущая, давящая и бесконечная. Кочевники такой усталости не знают. Бесконечность для них аксиома. А мы? Что мы здесь делаем? Что ищем? И ещё ветер. Этот непрекращающийся никогда ветер. Никуда от него не спрятаться. Редкие юрты. Стойбища. Недоверчивые, равнодушные взгляды. И вместе с тем покорность и неуловимая угроза. Кажется, они что-то знают, о чём мы даже не догадываемся. Кажется, вот-вот из-за солончаков и барханов, среди высоких, в человеческий рост, ковылей, в знойном мареве покажется орда. Выбросите свои револьверы, разрядите в землю винтовки, закопайте пулемёт.

## 7

А может быть, не в том дело, что не родился хлеб? Может быть, все эти деды и прадеды сеяли не хлеб, а что-то другое, и, значит, не такое уж унижительное это прозвище, не такая уж пустая и никчемная порода? Но тогда бы, наверное, были в роду какие-нибудь Яшка Ячмень или Прошка Пшено. Или не хлебом жили, а другими промыслами? Охотой, пасекой, бондарным, гончарным или плотницким ремеслом? Но и тогда – были бы Охотниковы, Бондаревы, Гончаровы, Плотниковы. А тут, что было важно запомнить? У всех хлеб, а у них – нет. Пустая порода.

## 8

Но и человек, словно хлеб, не рождается чёрствым и заплесневелым. Не сразу замыкается в себе, отстраняясь от остальных людей. В начале пути люди добры и ласковы, и нежность присуща им так же, как и хлебу присуща его мягкость и пышность. Когда можно, разломив пышную, тёплую ещё буханку, вдохнуть, втянуть в себя, зарыться лицом в этот запах, в котором всё: и жар ещё не остывшей печи, и духмяные скирды, и тяжёлые полные гумна, и тёмные настоявшиеся августовские ночи, когда голова тяжела от буйного разнотравья, а руки гудят от нескончаемых полевых работ, и в воздухе плывёт какая-то хмарь и теплынь, и, разморившись, падаешь к вечеру или в стог сена, или просто в траву, а звёзды над тобою набухают, словно слёзы, и высокое чёрное небо опускается ниже и ниже, и вот уже Млечный Путь ложится сырой повязкой на глаза и лоб, обволакивая уставшее тело таким ласковым и, кажется, беспробудным сном.

Сны. Сны были долгие, утомляющие и однообразные. Всё те же степи, всё те же незнакомые, дикие и страшные люди. Они всё время щурятся от постоянного ветра, их лица смуглы и плоски, как жёсткие войлочные подстилки, на которых они спят. Они разъезжают по степи на низкорослых уродливых лошадках: перегоняют скот с одного пастбища на другое. Их речь отрывиста и криклива, потому что слова захлёбываются от ветра. Их женщины угрюмы и нелюдимы. Тугодумки. Взгляд их тяжёл и отуманен какой-то одной долгой и неразрешимой мыслью. Они варят баранье мясо с чаем и солью. Старухи грубы и уродливы, курят, сидя вокруг огромных котлов, и дым от гадкого варева мешается с едким дымом табака. Они ругаются на непонятном, враждебном самом своим звучанием, языке. Дети какие-то все башибузуки, смотрят насмешливо и нагло, ждут подачки, даже требуют её. Ценно только то, что можно запихать в брюхо. Разношёрстная крикливая их ватага – маленькая орда. И нет ни сил, ни времени на неспешное, не понукаемое размышление о бесконечности пространства и конечности пути, к которому, казалось бы, должны предрасполагать эти необозримые просторы. Но бесконечность здесь аксиома. Кочевники над ней не задумываются, потому что с детства растворены в ней и пространство измеряют временем, днями пути, а время – пространством, количеством переходов с одного стойбища на другое. Так и скажут: через три стойбища – зима. И когда их бесчисленные кибитки движутся по степи, скрипя всеми подшипниками и втулками, они заглушают и людской говор, и завывание ветра, и глухой топот стада. И только тощие бурундуки да жирные байбаки, как верстовые столбики, стоят в траве, подёргивая чуткими носами, пытаясь уловить направление ветра и угадать перемещение человека. Непонятные, мучительные сны. И страшно было засыпать. Ещё страшнее – просыпаться.

## 10

Страшно было оттого, что проснувшись – не найдёшь никаких изменений и наяву будет всё то же самое, что и во сне. Опять эта треклятая Монголия, опять ненасытные хищные степи. Потому так радовался теперь Нехлебов, если снились «русские сны», из русской жизни: деревенское ли детство, голодная ли городская юность, окопная ли молодость на фронте в Галиции, даже пехотное училище и школа прапорщиков в Павловске, – всё лучше. А здешние, «монгольские сны», которые приходили всё чаще и чаще, навели тоску, и душа поутру сиротливо и жалобно озиралась на всё тот же, почти марсианский ландшафт, выдаваемый здесь за пейзаж. Может быть, его душа слишком мала для такого огромного пространства? Пустая порода? Мала душа. Малодушие. Какое интересное слово. Никогда бы не подумал, что придётся примерять его на себя. Вроде раньше не замечал за собою: ни на германском фронте, ни на Гражданской. Ни когда водил на расстрел, ни даже когда самого выводили. Свои же и вели. За сапоги приговорили, которые снял с убитого комиссара: не по чину. А тут шальной казачий разъезд! Расстрельную команду изрубили в капусту, в неразберихе спрятался в том же рву, где и должен был потом лежать. Наши тоже сначала чуть не драпанули, а как разобрались, что их всего один разъезд, то, конечно, положили всех из пулемётов. А уж после достреливать

не стали, простили, тем более, вышел к ним с винтовкой, вроде как тоже бой принял. Заплутали тогда казачки или сдуру, по пьяной удали, налетели на нас – неведомо, но спасибо им, выручили. И что, совсем не было страшно? Как же не было, Осип Андреевич, как же не было... Ещё как было. Ещё как. Но не малодушничал, нет. Обида и злость душили, конечно, но не озирался. Но здесь-то, здесь! Тоже мне командир! Или расстреляли меня тогда, и не было никакого казачьего разбеда? А что же тогда вот это всё, что сейчас? Эта степь? Эта экспедиция? Все эти люди, что идут со мной? Вы сами, Осип Андреевич? Откуда вы? Откуда они? Вот опять! Вот это оно и есть – малодушие. Хорошо ещё, что никто пока не замечает. Может быть, только проводники-монголы о чём-то и догадываются, но им всё равно, они-то дома. Души кочевников невозмутимы. Ничто их не раздражает и не смущает. На любую степь, на любое пространство их душ хватит с лихвою. Вот чему надо бы у них поучиться. А сначала и за людей-то их почти не считал. Даже имён их тарабарских запоминать не стал, окрестил по-своему: Яшка Ячмень да Прошка Пшено. У Яшки и правда на одном глазу был огромный ячмень, такой, что и смотреть жутко, а Прошка ещё в Урге, когда нанимали проводников, потребовал в уплату мешок пшена, всё говорил, смешно так: «Прошу пшено, прошу пшено». Затвердил откуда-то эти два слова и повторял, как болванчик. Ну вот, значит, сам себе имя и выбрал. Они не сразу, но согласились и откликались и на Яшку, и на Прошку. Смешные такие. Сколько им лет – непонятно, но не старики. За людей почти не считал. А теперь вот, значит, поучиться у них собрался. Ох, товарищ Нехлебов, эк тебя расшатало! А всего-то десятый день только, как из Урги вышли.

## 11

Расстояния здесь, в силу своей огромности, понятие почти лишённое смысла. Границы тоже весьма умозрительны и условны: сегодня они здесь, завтра – там, а послезавтра окажется, что их вообще никогда и не было. Можно идти день, два, три... пять... десять и оставаться на том же месте, потому что на тысячу ли, две ли, три тысячи километров вокруг – всё та же степь. В этом смысле абсолютно всё равно куда идти, и направления, таким образом, тоже теряют свою первоначальную заданность, путаются, словно шлеи под ногами, а цель пути, казалось бы, обозначенная на карте такой жирной точкой, на самой местности почти растворяется и кажется настолько недостижимой, что приобретает характер некоего миража или успокаивающего самообмана. Север или юг, восток или запад – здесь даже компасу всё равно, даже он забывает различия между ними. И озираясь по сторонам, всё время думаешь, что уже были здесь, уже проходили через эти солончаки и мимо этих, например, холмов. Да, может, так и есть? Может, Яшка и Прошка дурят их, водят по кругу? Специально? Или сами заплутали и боятся признаться? Но на стоянках они невозмутимо и деловито ставят походные юрты, разгружают припасы, разводят костёр, о чём-то даже ругаются между собой. И судя по тому, что с каждым днём пути они ведут себя всё свободнее и свободнее, если не сказать наглее, и уже не заискивают так откровенно, не притворяются китайскими болванчиками, а говорят сухо и только по делу, нет, не по кругу водят, а и правда всё дальше и дальше в степь. И словно угадав эти сомнения, вечером, на одиннадцатый день пути, когда уже выбирали место для ночёвки, Яшка Ячмень

подъехал к Нехлебову и, указывая на появившуюся на западе над горизонтом Венеру, сказал: «Вон где Бортэ-звезда теперь! А в Урге была – там!» Но проверить его Нехлебов не мог, потому что, конечно, и в голову ему не приходило в Урге замечать, где там и когда появлялась Венера.

## 12

«Двенадцатый день пути. Далеко-далеко уже осталась Урга. До неё добирались на автомобилях, но дальше они становятся бесполезны, так как негде достать бензина, а необходимого запаса с собой всё равно не увезёшь, да и нет здесь столько горючего. Гораздо надёжнее – низкорослые монгольские лошадки, неприхотливые и выносливые животные. Они хорошо приспособлены к тебенёвке, и в жёсткие суровые зимы погибает не более четверти поголовья. Огромные их табуны круглый год пасутся на здешних пастбищах. Монголы питаются их мясом и молоком. Сушёная кобылятина на вкус отвратительна, но делать нечего – привыкаешь. Хлеба здесь достать негде, и большинство местного населения даже не знает, что это такое». Это Нехлебов придумал ещё вести что-то вроде личного дневника. Журнал экспедиции он вёл по обязанности, где отмечал, сколько прошли за день, сколько истрачено припасов. Тетрадь эта была пронумерована, прошнурована и запечатана сургучом – подмена листов была невозможна, – и по возвращении её нужно было сдать в архив. А для себя ещё придумал и этот «дневник», где записывал личные впечатления и наблюдения. Но получалось у него не очень. Хотя что значит – не очень? Просто записывал, что происходит. Но ведь и не происходит же ничего... Раньше в его жизни столько всего происходило – никогда, ни разу не подумал он о том, чтобы что-то записать, для памяти или просто, обдумать. А теперь – на тебе – пишет. Писатель. И кому? Кто это будет читать? Вернутся ли они ещё живыми? Заведут их Яшка и Прошка, дорого не возьмут. А листочки эти, даже и из секретной, прошнурованной тетради, пойдут у них на самокрутки да козьи ножки.

## 13

Всё-таки некоторая нервозность ощущалась. Однообразие и унылость пейзажей делали своё дело. Чужая и неприветливая страна, угрюмая, обиженная на весь мир, кажется, затаилась и выжидала, не обещая ничего хорошего. Нехлебов, старался держаться строго и невозмутимо, как и подобает командиру, подавать пример, хотя у самого, что называется, кошки на душе скребли, и при каждом казавшемся ему подозрительном или неуместном диалоге между Яшкой и Прошкой – рука у него невольно тянулась к кобуре с револьвером, а сам он, замедляя лошадь, озирался по сторонам, прислушиваясь к чему-то. Но всё было всегда напрасно – никакой угрозы и никаких новых звуков, кроме шороха ковылей слышно не было. Каждый занимал себя как умел. Осип Андреич Например – этнограф, историк, востоковед – разыгрывал учёного чудака, эдакого Паганеля, не унывающего ни при каких обстоятельствах, которому всё интересно, хотя настоящий Паганель, наверное, давно бы уже помер здесь от тоски – ни тебе индейцев, ни тебе вулканов, ни тебе водопадов, не говоря уже о каких-нибудь экзотических бабочках, всяких там махаонах или бражниках. Сплошная гори-

зонталь и плоскость. Бурундуки да змеи. Осип Андреич бодрился. Но, конечно, и он всё чаще забывался и, что-то заунывно напевая себе под нос – «...бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт...», – всё чаще судорожно протирал запотевшие очки, отряхивая пыль с лица, и говорил, оглядываясь: «Да-с, забрались... и грустную песню заводит... забрались, не выберешься...» – «...про родину что-то поёт...» – «Не выберешься». Его аспирант и секретарь Бондарев-Малевский, ничтожный, жалкий человек, который день уже, словно в горячке, всё ныл да хныкал, говорил, что чёрт его дёрнул сунуться в эту Монголию, что лучше бы сидел он себе на кафедре в Петрограде, на своём аспирантском пайке, а эти степи сделают его инвалидом. «На кафедре в Ленинграде, в Ленинграде», – педантично поправлял его каждый раз Осип Андреич, а красноармеец Плотников, едва слышав нытьё аспиранта, шипел: «Пристрелю». И было непонятно, что так раздражает Плотникова – то ли само нытьё маленького аспирантика, то ли его забывчивость и то, что он всё время путает и называет Ленинград Петроградом, то ли всё вместе. Плотников был большой и с виду довольно добрый мужик, и впечатление это было настолько основательным, что Бондарев-Малевский несколько не боялся этих угроз, порою даже огрызаясь, а со временем и вообще перестал обращать на них внимание, только каждый раз обиженно замолкая и съёживаясь на своей лошадке, презрительно отвернувшись. На самом же деле Плотников больше сердился на самого себя, за то, что малодушие этого ничтожного аспирантишки – студентика – как он называл его, не желая разбираться в тонкостях, передаётся и ему тоже. И он тоже – такой большой и сильный человек, прошедший за время Гражданской войны и огонь, и воду, повидавший лиха – и он тоже начинал бояться, и у него сердце было не на месте, словно ползала по этому сердцу большая и жирная навозная муха. Трое же других красноармейцев, над которыми Плотников был командиром – Охотников, Борькин и Перекопский, – оставались невозмутимы, и общее беспокойство на них, по всей видимости, не распространялось. Они настолько привыкли доверять своему начальству и действовать или испытывать какие-либо чувства только по его приказу, что совершенно не задумывались о том, куда и зачем они так долго едут по этой бесконечной степи. Почти всю дорогу от одного привала до другого они едва ли не спали верхом на своих лошадках, лишь иногда отмахиваясь от назойливых мух. И такие отупение и покорность почему-то раздражали Плотникова даже больше, чем нытьё «студентишки», словно видел он в них подтверждение неизбежного конца, какой-то неотвратимой и непреодолимой угрозы, против которой всё будет бесполезно, и потому лучше уж сразу покориться и не суетиться почём зря. От этого он приходил в ещё большее раздражение, но аспирантишка всё ещё презрительно молчал после прошлого обещания пристрелить его, и шипеть было не на кого, а та самая навозная муха на сердце, в такие минуты будто замирала и довольно потирала своими мохнатыми лапками.

Больше всего Нехлебова угнетало то, что ему, командиру, не сообщили цель экспедиции. То есть сообщили «куда», но не сообщили «зачем». А там, по прибытии, должен был их ждать человек, которому это «зачем» известно, который примет командование на себя и с которым надо будет ещё куда-то идти, что-то добывать, а только потом уже

возвращаться. Косвенно о цели экспедиции можно было бы судить по её составу – вот навязали же ему зачем-то этого Осипа Андреевича, например, востоковеда, да ещё с помощником. Может быть, он что-то знает? Но как ни пытался Нехлебов разговорить его об этом, с какого боку ни подступался, с какими уловками ни закидывал удочки – всё выходило без толку. Или Осип Андреевич и в самом деле ничего не знал о цели их похода, или так искусно это знание скрывал, что Нехлебову это искусство было не по зубам. В конце концов он бросил пытаться и расспрашивать его, а решил довольствоваться разговорами, что называется просто «за жизнь». Тем более на длинных переходах было скучно, пейзаж вокруг не менялся уже две недели, а собеседников интереснее Осипа Андреевича всё равно рядом не было: Бондарев-Малевский был сильно младше и по должности, и годами и ничего интересного рассказать не мог; Плотников был человек простой и грубый и, если не о деле или войне, мог говорить только о бабах. О солдатах и монголах речи вообще не шло: Нехлебов даже их лиц до сих пор не запомнил – только Яшку Ячменя поначалу за ячмень и отличал, а когда ячмень сошёл, то и его с Прошкой стал путать. А вот Осип Андреевич знал всех по именам, не то что в лицо, а с монголами мог даже и на их тарабарском языке перекинуться, за что Яшка и Прошка очень его уважали и даже пытались угощать из своих запасов. Нехлебов сначала допытывался у него, о чём он там говорит с монголами, опасаясь, что речь может идти о цели похода, о которой Осипу Андреевичу, возможно, известно больше, чем ему, но потом, убедившись – и по краткости разговоров, и по жестам, и по выражениям лиц собеседников – в незначительности содержания их бесед, – бросил. Какая-то сонливость, какое-то безразличие постепенно овладевали им и, наконец, заволокли его душу, словно и в неё проросли уже те самые ковыли, словно пересыпались в ней, гонимые ветром, те же самые, что и кругом, бесконечные солончаки и барханы, и от одного до другого чувства надо было уже пробираться, увязая в зыбучем песке, защищая от него глаза, ноздри, уши, рот. Так он почти и засыпал верхом на своей лошадке и уже не понимал – то ли это действительно просто сон, утомление от многодневного и однообразного перехода, то ли уже бьёт его какая-то неизвестная степная лихорадка. И чтобы хоть как-то почувствовать себя, чтобы не раствориться в этих песках без остатка, надо было о чём-то думать, а лучше с кем-то постоянно разговаривать. С тем же Осипом Андреевичем, например... Кстати, как будет правильно – с Осипом Андреевичем Например или с Осипом Андреевичем Напримером? И кстати – откуда такая дурацкая фамилия?

– Почему дурацкая? – обижается Осип Андреевич.

– Конечно, дурацкая, какая же ещё? Никогда такой не встречал.

– И больше не встретите, – вздыхает Осип Андреевич. – Я последний Например. Других нет.

– Других примеров нет? – Нехлебов даже расхохотался, и тут же ему ветром набило полный рот песка, но он всё равно не мог остановиться и, отплёвываясь и давясь и песком, и ветром, и своим же хохотом, крикнул ещё:

– А вы, например, служите примером чего?

Налетевший порыв ветра чуть не выбил его из седла. Яшка и Прошка забегали, крича что-то на своём языке и показывая всем жестами скорее спешиться и спрятаться пока в ближайшей балке. Сами же они попытались было установить небольшую юрту, чтобы укрыться от ве-

тра, но её тут же разметало и унесло куда-то в степь. Лошади истошно и жалобно ржали, словно упрекая людей в том, что они завели их в эту бурю, не заметив её, когда она ещё только занималась на востоке маленьким сизым облачком. На расстоянии вытянутой руки уже ничего не было видно, и ничего уже не было слышно, кроме звериного завывания бури. Все кубарем скатились на дно неглубокой балки. И там, внизу, в толще песка и ветра, до Нехлебова донеслись обрывки каких-то нелепых слов Осипа Андреевича, непонятно к чему относившихся и зачем сейчас сказанных, но словно пытавшихся перекричать бурю, трепетавших на ветру рваным полотнищем флага:

... – в Кунсткамере например...

## 15

Буря наутро утихла, а лихорадка у Нехлебова – нет. Двигаться дальше было невозможно. Разбили лагерь. Яшка и Прошка хлопотали вокруг костра и котелка с варевом, словно две склочные задастые тётки на коммунальной кухне. И даже здесь, в голой степи и под открытым небом, двум хозяйкам, как и положено, на одной кухне было тесно: они то и дело переругивались, отвешивали друг другу тумачи, корчили чумазые рожи. Плотников, временно приняв на себя обязанности командира, надзирал за ними, возвышаясь над костром, иногда важно указывая, сколько ещё – соли или какой иной приправы и в какой последовательности – добавить в котелок. Не очень было ясно, слушают ли его Яшка и Прошка, понимают ли они его и делают ли то, что он говорит, но что-то они делали, что-то добавляли, помешивали, пробовали, сплёвывали и опять добавляли и помешивали. Плотников же всё равно имел такой вид, словно всё, что происходит, – происходит исключительно по его приказу, с его ведома, и так, как им и задумано. Был он сейчас похож на сказочного солдата, который варит кашу из топора. Остальные красноармейцы – Охотников, Борькин и Перекопский – сидели чуть поодаль, абсолютно безучастно, но с каким-то заинтересованным отупением наблюдая происходящее, которое для них имело смысл только потому, что было надежда, что в котелке варится что-то съедобное, хотя, по запаху, и противное. Осип Андреевич находился в юрте, рядом с Нехлебовым, выполняя, насколько это было возможно, обязанности и доктора, и сиделки одновременно. Бондарев-Малевский бродил вокруг лагеря в некотором отдалении и что-то мурлыкал себе под нос. Иногда ветер доносил обрывки каких-то бессмысленных фраз, какого-то горячечного бормотания. Было непонятно – не сошёл ли он с ума, или, может быть, просто сочиняет стихи.

## 16

Осип Андреевич оказался всё же или дурак, или зануда, или и то и другое одновременно. Пока Нехлебов лежал в полузабытьи, он – из лучших, конечно, побуждений, чтобы как-то облегчить ему страдания и чем-то отвлечь от дурных мыслей, хотя никаких мыслей у Нехлебова не было вообще, – решил всё-таки дорассказать ту забавную историю, откуда есть пошла его такая дурацкая и такая неслыханная фамилия – Например.

Осипу Андреевичу история казалась весьма увлекательной и рассказывал он с азартом, но для Нехлебова это было настоящей пыткой,

тем более, что был он так слаб, что не мог даже попросить Осипа Андреевича замолчать, а стоны и мычание – всё, на что Нехлебов был сейчас способен, – Осип Андреевич принимал за посильное участие в беседе и даже за интерес со стороны слушателя.

Из рассказа Осипа Андреевича выходило, что некто Шнайдер, то ли немец, то ли швед, то ли голландец, был взят в плен под Полтавой и за свой исключительно высокий рост представлен самому Петру. Они оказались старыми знакомыми: Пётр вспомнил, что видел его на верфях в Заандаме, в Голландии во времена Великого посольства, и уже тогда Шнайдер привлёк к себе внимание своим ростом, хотя и был на две головы ниже самого Петра. Но за прошедшие двенадцать лет Шнайдер подрос и уже почти сравнялся с царём, что само по себе не было удивительным, ведь тогда, на верфях, он был юношей, почти ещё подростком, а сейчас уже стал взрослым человеком, лет тридцати. Этим всё и закончилось бы, но Шнайдер уверил Петра, что растёт до сих пор, хотя это доставляет ему мало радости: всё время болят суставы, ни к какому сколь-нибудь длительному физическому труду он стал неспособен, поэтому и пришлось уйти с верфей и завербоваться в шведскую армию – приличное содержание за относительное безделье – но, самое главное, он постоянно вырастает из любых костюмов и любой обуви. Раз в два-три года приходится полностью обновлять гардероб. А новое обмундирование в шведской армии выдают именно раз в три года.

Пётр сначала не поверил и расхохотался, решив, что старинный его приятель знатный прохвост и лентяй, ведь сам-то он никогда не уставал и не испытывал никаких трудностей из-за своего роста. Но Шнайдер предложил царю своеобразное пари: встретиться ровно через год, и если за этот год он, Шнайдер, не прибавит в росте хотя бы половины дюйма, то царь прикажет укоротить его на целую голову. По некотором размышлении пари было принято, условия записаны на бумаге и скреплены печатью, а сам Шнайдер зачислен в штат царских денщиков. Ровно через год уже в Петербурге в присутствии четырёх сенаторов – Меншикова, Апраксина, Долгорукова и Головина – рост Шнайдера был измерен Петром лично. Выяснилось, что за прошедший год Шнайдер прибавил в росте целый дюйм. На следующий год опыт повторили в том же присутствии – и снова несчастный подрос на целый дюйм, даже чуть больше. За третий год Шнайдер прибавил целых два дюйма, а к исходу четвёртого был уже длиннее Петра на целую голову. Царь был в восторге! Сам двухметровый гигант, он со смехом взобрался на табуретку, чтобы обнять и расцеловать другого гиганта. Далее была составлена контрибуция: ввиду того что Шнайдер продолжает расти и конца его росту не предвидится до самой шнайдеровой смерти, что для всей российской науки составляет превеликий феномен, повелевается ему, Шнайдеру, состоять отныне при Кунсткамере сразу в двух позициях – живым экспонатом с ежегодным измерением роста и смотрителем коллекции уродов. За это великий государь Пётр Алексеевич берёт одного Шнайдера на полный казённый кошт с начислением жалованья по тем же двум позициям – и как экспонату, и как смотрителю, – назначает ему должность обер-урода при Кунсткамере и чин секунд-майора в Преображенском полку с обновлением амуниции, на казённый же кошт, по его росту каждый год против шведских трёх лет. Квартиру же ему определить в той же Кунсткамере, в любых комнатах, какие он сам выберет. До этого момента Шнайдеру всё очень нравилось, и он не мог

налюбоваться на царя и сам был готов его расцеловать. Но далее Меншиков тем же звонким и задорным голосом зачитал главный и последний пункт контрибуции, при котором остальные господа сенаторы – Апраксин, Головин и Долгоруков – ехидно захихикали, сам Пётр, метавший до того великодушные молнии то на Меншикова, то на Шнайдера, сделался строг и непроницаем, а Шнайдер, услышав его, – слегка пожелтел. В нём без всяких обиняков и политесов говорилось, что по смерти своей Шнайдер от должности смотрителя коллекции освобождается, а от должности экспоната и обер-урода – нет. Тело его станет собственностью Кунсткамеры, будет заспиртовано в колбе и выставлено на всеобщее обозрение как пример и феномен. При этих словах Пётр выжидательно и строго посмотрел на Шнайдера, а Меншиков на время умолк.

– Буде оный Шнайдер не согласен с контрибуцией, то не в пардон ему... – продолжил было Меншиков, но Пётр остановил его взмахом руки:

– Он согласен!.. – и велел передать Шнайдеру перо и текст контрибуции для подписи, на котором сам уже начертил красными чернилами наискосок через весь лист: «Быть по сему!»

Шнайдер почувствовал какую-то ноющую тоску в животе и, подписывая, успел подумать две мысли – первую ещё на голландском: «Да найдётся ли у них такая огромная колба и можно ли её вообще изготовить?» А вторую уже почему-то по-русски: «Когда пойму, что конец приходит, – брошусь в Неву. Пусть ищут». С тех пор он словно позабыл родной язык и уже не сказал и не подумал на нём ни единого слова.

## 17

И вот потекла у Шнайдера жизнь хоть и прежняя, да по-новому. Каждое утро садился он в своей смотровой зале с выходящими на невскую набережную огромными окнами – огромными настолько, что его было видно даже и с проплывающих по самой Неве кораблей, – закуривал длинный турецкий чубук, выпивал несколько чашек кофе, заедая их белой булкой, снова закуривал, разворачивал и читал газету. Все эти действия сами по себе не могли бы, конечно, привлечь внимания, но гигантский рост Шнайдера, пока к нему ещё не успели привыкнуть, всегда был замечаем. Прохожие на набережной – чиновники, спешившие на службу, мастеровые, лавочники, мужики, матросы, просто случайные обыватели – первое время толпились около окон Шнайдера, разинув рты, забывая о своих делах. Даже корабли на Неве замедляли ход, завидев этого Гулливера, что иногда приводило даже к столкновениям и небольшим кораблекрушениям. Петру докладывали об этих происшествиях, спрашивая, что делать – судоходство стало затруднительным – нередко образовывалась даже некоторая сутолока и замятня. Но Пётр только смеялся, говоря, что привыкнут, а зевак с набережной велел загонять в Кунсткамеру на *экскурсии*. И теперь, как только собиралось их поглазеть на Шнайдера человек десять, солдаты, прятавшиеся в парадном, выбегали и чуть ли не прикладами ружей или дубинками загоняли любопытных внутрь, где их уже встречал гигант Шнайдер и учтиво предлагал пройти по залам и осмотреть царскую коллекцию уродов. Первое время чуть ли не каждую неделю наезжал и сам царь в компании то иноземных купцов или послов, то господ сенаторов, то царицы и её фрейлин, то преображенских офицеров, то простых корабельных рабочих или матросов – да мало ли у него в государстве

всякого сброда – и тоже требовал *экскурсии*. И Шнайдер, кряхтя и поскрипывая суставами, медленно водил их по залам от одного уroda до другого. Он довольно быстро привык к русскому языку и говорил на нём не в пример быстрее, чем двигался, часто даже и сам не поспевая за смыслом им же сказанного. Диковинная эта смесь, чудный ералаш, каким был в то время русский, без меры пересыпанный всякими немецкими, голландскими, французскими, шведскими словами, давался легко, подходил для описания любого предмета, и слова катились резво и весело, словно рассыпанный по полу сухой горох. Но особенно полюбил Шнайдер слово «например». Оно, как ему казалось, придавало солидности и наукообразности любому разговору, всякой, пусть даже самой пустой и глупой, его *лекции*. С него он всегда и начинал, подводя к очередному экспонату: «А вот здесь, например...», «А вот тут, например...», «Извольте видеть, например...». Однажды Пётр не выдержал этих бесконечных «например» и разгневался на него, прервав лекцию в самой середине, на очередном «напримере»:

– Да что ты мне словно колотушкой по лбу стучишь – например, например!.. Ты дело говори – что сия диспропорция значит и как она появилась!

Шнайдер молча поклонился.

– А он знай своё талдычит – например да например, хлебом его не корми, а дай «например» сказать – а ведь сам чёрт не разберёт, что к чему!

Шнайдер в другой раз молча поклонился и степенно продолжил лекцию, но, забывшись, снова – ни к селу ни к городу – брякнул это дурацкое «например».

– Ежели так упорствуешь в своей глупости, быть тебе отныне не Шнайдером, а Напримером. Тебе и твоим потомкам! – подытожил Пётр и расхохотался.

Здесь, как это часто у него случалось, приступ гнева сменился приступом необузданной и не менее опасной для окружающих весёлости. Он велел привезти кубок «Большого орла» – а, нет! отставить «Орла!» – пей прямо из банки с двухголовым телёнком!

Бедный Шнайдер снова молча поклонился, подошёл к экспонату, откупорил банку и стал пить. Пётр понаблюдал, пока он не отпил ровно половину и, опять расхохотавшись, уехал со всей своей шумной свитой.

На следующее утро обер-прокурор Ягужинский лично доставил обер-уроду Шнайдеру новый паспорт на имя Карла Фёдоровича Напримера.

– А старое своё имя навсегда позабудь, – строго сказал Ягужинский, вручая паспорт, и надменно посмотрел на Шнайдера сверху вниз, хотя и был на четыре головы ниже его.

Бедняга думал, что на этом царёва шутка закончится, но царь Пётр любил пошутить, хотя порой и безвкусно, но до конца и всегда с горочкой. Единожды вспомнив про потомство – «быть тебе отныне Напримером – тебе и твоим потомкам!» – царь задумал женить Шнайдера, чтобы оного потомства дожидаться. Надо ли говорить, что выбор невесты самому жениху не доверили? Нашли где-то здесь же, на болотах, простую чухонку, молодую и такую же рослую, правда, от рождения немую, и подселили к нему в Кунсткамеру. Через некоторое время, когда царю было угодно отдыхать от государственных дел, сыграли шутовскую свадьбу, правда, венчали без дураков, по-настоящему. Пётр был настолько великодушен, что даже разрешил Шнайдеру не менять

веры, и венчание устроили по лютеранскому обряду, в специально построенной по такому случаю кирхе.

Свершив *таинство*, царь стал ждать потомства, надеясь в будущем составить из него целую роту отборных и высоченных – *примерных* – гвардейцев. И оно, потомство, действительно появилось. Чухонка оказалась плодовита, как сёмга, и рожала, словно шла на нерест, каждый год и редко когда была тяжела одним. Правда, гвардейцы из них получились бы так себе. Все они, противу ожидания, были хотя и живучие, но мелкие, как щучья икра, тщедушные, белобрысые, какие-то даже бесцветные и, что самое обидное, непроходимо глупенькие. Только один мальчик, хотя ростом тоже не выделялся, был поумнее и побойчее других. Вздохнув, Пётр велел зачислить его в Навигацкую школу и навсегда забыл и о нём, и о самом Шнайдере, вернее уже о Напримере. От этого мальчика и пошли все остальные Напримеры вплоть до Осипа Андреевича.

Отцу же его, Карлу Фёдоровичу Напримеру, вернее Карлу Теодору Шнайдеру, посчастливилось пережить царя Петра на целых четыре года и умереть уже при его внуке, императоре Петре II, которому не было дела до дедовских причуд и обещаний. Из тех, кто мог бы помнить о намерении царя сделать из Шнайдера экспонат и о подписанной ими контрибуции, к тому времени, к счастью для Шнайдера, почти никого не осталось: Апраксин и Головин давно умерли, Меншикова и Ягужинского Пётр II самих словно заспиртовал в колбе, отправив в далёкую и бессрочную сибирскую ссылку, князя Долгоруковы хотя и были в силе, но были заняты придворными интригами, намереваясь женить юного императора на своей княжне.

Словом, по смерти Карл Фёдорович Например в колбу не попал, хотя и подписал о том контрибуцию с самим царём, а был погребён похристиански. До самой своей кончины он не прекращал расти, правда, уже не так быстро, прибавляя в год не больше четверти дюйма, но это уже, слава богу, не было никому интересно.

## 18

Закончив рассказ, Осип Андреевич промокнул вспотевший лоб платочком и внимательно посмотрел на Нехлебова. Чудак даже не мог вообразить, какие страдания он доставил ему своей болтовнёй. Нехлебов, как мог, старался не слушать его и всеми силами, что ещё оставались у него, заглушить, отогнать слова Осипа Андреевича, словно стаю назойливых мух. Но мозг совершенно не слушался и, обессиленный, напротив, впитывал голос рассказчика, словно иссохшая губка влагу, и все герои рассказа воплощались по мере своего появления и уже толпились здесь, в тесной и низкой юрте за спиной Осипа Андреевича, хотя он, разумеется, их не видел. И вот уже господа сенаторы – Апраксин, Головин, Меншиков, Долгоруков – склонились над Нехлебовым, заслонив самого Осипа Андреевича.

– Подохнет, – сказал Меншиков, поднося свечу к самому лицу Нехлебова и внимательно его разглядывая.

– Не жилец, – подтвердил Долгоруков.

– На всё воля божья, – в один голос согласились Апраксин и Головин и почему-то опять ехидно захихикали.

– Как государь решит – так тому и быть! – прогремел невесть откуда взявшийся обер-прокурор Ягужинский. – Надо будет – подохнет, а надо – так молодым козликом запрыгает.

– Например... – промычал Шнайдер, который, оказывается, тоже был здесь, да ещё со своей чухонкой. Ростом оба они уже вымахали под два с половиной метра, и было даже не очень понятно, как они вообще здесь, в юрте, помещаются.

Все присутствующие задрали головы.

– Ты ещё тут поговори!.. – пригрозил Ягужинский Шнайдеру.

При этих словах Апраксин и Головин стали подобострастно кланяться обер-прокурору, а Меншиков и Долгоруков, напротив, посмотрели на него с ненавистью.

– Господа, господа, – засуетился вдруг Осип Андреевич, – государь, господа, то каменщик, то плотник, господа. Пётр Алексеевич, прошу! Господа, пропустите государя к больному!

Господа сенаторы расступились.

А над Нехлебовым склонился сам Пётр Великий и с ним почему-то ещё какой-то монгол.

## 19

– Ну?.. – спросил Пётр, даже не взглянув на монгола.

Монгол в ответ зацокал языком, проговорил что-то на своём тарабарском и, вдруг достав откуда-то маленький кривой кинжальчик, поднёс его к щеке Нехлебова, сделал небольшой надрез и стал с интересом разглядывать набухающую каплю крови.

– Ну?.. – повторил Пётр с нетерпением, но уже повернув голову к монголу.

Монгол снова зацокал языком, затем, наклонившись к Нехлебову, слизнул кровь с его щеки и, прикрыв глаза, замер.

Пётр выждал несколько секунд, потом, не говоря уже ни слова, схватил его за шиворот и с силой встряхнул.

Монгол открыл свои глазки, посмотрел на Петра, отрицательно помотал головой и снова зажмурился.

Тогда Пётр другой рукой достал из-за пояса револьвер и приставил его дуло к виску монгола.

Тот, почувствовав прикосновение металла, снова испуганно защёлкал языком, замотал головой и опять начал что-то быстро-быстро говорить на своём тарабарском наречии.

Пётр ещё раз с силой тряхнул его, чтобы он замолчал, потом взвёл курок, засунул дуло монголу в рот и проговорил медленно и чётко, словно самым взглядом впечатывая каждое слово монголу в мозг:

– Поставь. Мне. Его. На ноги. Темучин. Чтобы он у меня ходил, разговаривал, на лошади верхом ездил. А не то...

Пётр внимательно, чуть ли не в упор посмотрел в лицо монголу и вынул дуло револьвера у него изо рта, чтобы услышать ответ.

Монгол попробовал руками челюсть, довольно осклабился, показав гнилые зубы, и вдруг ответил по-русски, совершенно чисто, без всякого акцента:

– Хорошо, Плотников. Как скажешь. Но учти – ты сам этого хотел.

## 20

«Ну и пусть... всё равно», – подумал Нехлебов, когда Плотников, выйдя из юрты, оставил его один на один с этим монголом, которого называл почему-то Темучином.

Какое-то верблюжье равнодушие овладело Нехлебовым, – малодушие сменилось теперь равнодушием, – и стала совершенно безразлична ему и собственная участь, и участь тех, кто пришёл с ним, а сейчас находился снаружи, и уж тем более смогут ли они – с ним или без него – завершить экспедицию, дойдут ли до цели, выполнят ли приказ? Поставит ли его на ноги этот монгол или уморит окончательно? Всё это сделалось неважным. Даже неинтересным.

Любое движение – даже просто пошевелить пальцем руки – требовало теперь от него столько усилий, стало таким трудоёмким, что он даже и не помышлял об этом, даже и не пробовал пошевелиться. «Наверное, это и есть паралич, – подумал он. – Меня парализовало». Но даже и эта мысль нисколько не испугала его, не произвела никакого впечатления.

«Ну и пусть... всё равно».

Монгол тем временем развесил над ним пучки какой-то высохшей травы и подпалил их, и теперь они тлели, наполняя юрту едким сладковатым дымком, отчего, наверное, скоро станет трудно дышать.

«Ну и что?..» – подумал Нехлебов.

И даже когда монгол снова достал свой кинжальчик и завертел им у него перед глазами, Нехлебов опять подумал только одно: «Ну и что?»

А когда сверху на глаза набежали ручейки крови – видимо, монгол сделал ему какие-то надрезы на лбу, – Нехлебов не подумал даже и этого «ну и что?», а просто их закрыл.

Монгол же, довольно покачав головой, достал из своей сумки длинную костяную трубку, аккуратно и не спеша набил её табаком и стал раскуривать, а раскурив, о чём-то задумался. Нехлебову казалось, что он видел его даже сквозь закрытые веки, правда, в каком-то красноватом мареве – наверное, в глазницах скопилась кровь со лба.

«Чубук как у Шнайдера в Кунсткамере», – зачем-то подумал Нехлебов, разглядывая трубку монгола, и сам удивился бесполезности и ненужности этой мысли.

В следующую минуту монгол, глубоко затянувшись, вдруг наклонился к Нехлебову и выдохнул целое облако дыма прямо ему в лицо, а потом ещё с минуту внимательно его разглядывал. Убедившись, что Нехлебов никак не реагирует, он выпрямился, вытряхнул из трубки остатки табака и, повернув голову к выходу, крикнул:

– Эй, Плотников, или кто там? Чаю нам прикажи!

Но эти его слова Нехлебов слышал уже совсем издалека.

Кто-то грубо растолкал его, выдернул из глубокого и вязкого сна и прямо такого – в исподнем, заспанного, с запекшейся на лице кровью – выволок наружу. Солнце шибануло по глазам. Едва успел заслониться от него, как руки тут же скрутили, завели за спину, связали и пинками и тычками погнали куда-то за околицу. В солнечной завесе всё пытался разглядеть – кто же его гнал – свои или чужие? Вроде мелькнули Борькин и Перекопский, вроде где-то рядом басил Плотников, а там, у большой ямы, куда его гнали, уже утапывал для него местечко Охотников. Да точно ли это они? А, чёрт их разберёт – все на одно лицо... словно монголы какие-нибудь... Кстати, а где монголы? Где Яшка и Прошка? Где степь? И откуда здесь украинское село – с мазанками, огородами, подсолнухами, петушиными криками? И куда его гонят? Ну, куда гонят –

понятно. Вон к той яме, за тыном, расстреливать будут. За что? Да и неважно уже. А важно, что вот уже должен бы появиться казачий разъезд, тот самый, который тогда сдуру налетел на них. Уже должен быть слышен их топот, клубиться пыль на горизонте, должны уже быть рядом, а не слышно, не клубится, нет их – спасителей, а яма – вот она, пришли уже. Поставили против солнца. Ни опомниться, ни слова сказать, не говоря уж приготовиться или там покурить, подумать – не дали. Проснуться-то толком не дали, рожу ополоснуть, оправиться. Некогда нам, вставай и иди помирать, прямо так. Из одного сна в другой.

Так и не приехали казачки-то.

Яма оказалась глубокой, в два, а то и три человеческих роста. Было слышно, как бойцы наверху перезарядили винтовки, потом подошли к яме, кажется, закурили. Кто-то спросил, наверное, Плотникова, закапывать уже или ещё погодить? Кто-то ответил им, что успеется. Потом наверху началась какая-то непонятная суета: топот, выстрелы, крики. Что-то у них там случилось. Неужели всё же казачий разъезд? Потом стало тихо.

Потом показались две головы: одна почему-то в парике с буклями, а вторая монгольская – Темучина.

– Я же говорил, подохнет, – сказала голова в парике.

– Что говорит лошадка? «Иго-го!» – ответила ей вторая.

После этой странной беседы Темучин, неожиданно ловко для такого древнего старика, прыгнул вниз и уселся прямо Нехлебову на грудь. С минуту он молча вглядывался в его лицо, а потом, наклонившись, выдохнул ему в рот облако едкого дыма. Меншиков наверху аж поморщился.

Затем, полностью заслонив собою и солнце, и небо, над ямой появился гигант Шнайдер. Кряхтя и скрипя суставами, он встал на колени и аккуратно достал из неё сначала Темучина, а потом и Нехлебова.

Оба как будто не дышали.

22

Этого дня не было.

23

И этого тоже.

24

А этот – был. Но лучше бы его не было...

Началось с того, что среди общего шума, суеты, криков, людской беготни и конского топота и ржания, доносившихся снаружи, Нехлебов расслышал собственный голос, который приказывал, торопил, понукал. А потом, совсем рядом, этот голос сказал кому-то:

– Вас больше не надо... Теперь дойдём сами...

Было очевидно, что лагерь сворачивали и отряд собирался двигаться дальше, а тот, кто говорил его голосом, сообщил проводникам – Яшке и Прошке, – что они больше не нужны. Даже отсюда, из юрты, Нехлебов почувствовал, как испуганно они переглянулись. После этих слов должны были последовать два коротких сухих выстрела: никто не должен знать об экспедиции и уж во всяком случае не должно было быть никого,

кто мог бы указать её маршрут. Но выстрелов не последовало. И в самом деле, хотели бы избавиться от проводников, не надо было тратить слов. Кстати, слова... Было в них что-то необычное... Нехлебов не сразу понял что, а когда понял, то, что было сил, рванул из юрты, но оказалось, что ноги совсем не держали его, и он вывалился из неё, словно младенец из материнского лона, и уткнулся лицом прямо в землю. Грохот общего хохота встретил его появление. Смеялись все: Плотников, Борькин, Перекопский, Охотников, Осип Андреевич, Бондарев-Малевский. Только Яшка и Прошка с такими же испуганными лицами стояли в сторонке со своими лошадами. Но громче всех смеялся тот, кто говорил теперь его голосом. И в этом смехе было то же самое необычное, что и в словах, сказанных только что проводникам-монголам. Этот человек смеялся *по-монгольски*. И вот эти слова – «Вас больше не надо, теперь дойдём сами...» – тоже были сказаны *по-монгольски*, но Нехлебов понял их тогда, словно они были сказаны на родном ему языке.

Лёжа на земле, уткнувшись лицом в пыльную степь, Нехлебов под этот общий хохот почувствовал, что как-то иссох, обнищал телом за время болезни. Наконец, когда хохот постепенно иссяк и люди снова принялись за дело, он набрался мужества, чтобы поднять лицо от земли и взглянуть на того, кто говорил и смеялся его голосом. И он увидел его... Вернее, увидел он самого себя...

*Сам он* вальяжно развезжал на лошади посреди копошащихся людей, отдавал им короткие приказы, всем находил дело, всё замечал, всё проверял, посматривал то на часы, то на компас, но во всём его облике было что-то чужое, раньше ему не свойственное. Даже посадка на лошади – слишком уверенная, будто лошадь часть его тела, единое с ним целое – так умеют только прирождённые наездники, которые в седле выросли – даже она выдавала его.

Наконец сборы были закончены: юрты свёрнуты, лошади навьючены, все наездники в седле. Оставили только одну юрту, в которой Нехлебов провалялся в лихорадке все эти десять дней и у входа в которую валялся и сейчас. Рядом переминались Яшка и Прошка. Кажется, только они понимали, что произошло и происходит. Они и ещё, кажется, Плотников, которому Темучин сказал несколько дней назад – «Хорошо, как скажешь. Но учти – ты сам этого хотел», – о чём-то смутно догадывался и теперь смотрел виновато и испуганно.

Перед тем как двинуться в путь, *сам он*, тот, кто был теперь им и говорил и смеялся его голосом, подъехал и, не слезая с лошади, сказал ему сверху сначала громко и по-русски:

– Прощай, Темучин. Поставил на ноги, посадил на лошадь – и спасибо. Эти, – кивнул на Яшку и Прошку, – выведут тебя к людям или куда скажешь.

А потом, криво усмехнувшись и чуть наклонившись, тихо и по-монгольски:

– Халат мой совсем износился, но ещё лет десять, а то и пятнадцать потаскать можно. Носи. Тебе же за новый – поклон. Обещаю, буду беречь.

И, расхохотавшись, поскакал прочь, а за ним, подняв клубы пыли, и весь, теперь уже его, небольшой отряд.

Приблизительно за полгода до смерти Джучи-хан говорил советникам, среди которых было немало добровольных шпионов: «Отец мой

совсем осиротел рассудком – и в отношении войны, и в отношении земель, и в отношении людей». Сказав это, он отправился на соколиную охоту, вместо того чтобы, согласно доставленному из Каракорума приказу, начать собирать войска для похода на Запад – улусу Джучи пришлось время распространиться до самого океана. Единственное, что он предпринял, чтобы хоть как-то изобразить выполнение отцовской воли, – послал небольшой отряд в низовья Иртыша для покорения нескольких южных кипчакских племён, которые и без того были готовы идти под его крыло, за исключением двух или трёх молодых и горячих татарских князьков, поднявших было безрассудный мятеж, надеясь, что он распространится, словно пожар по сухой степи, но который оказался настолько хилым и безлюдным, что пожар этот больше тлел и чадил, чем горел, и постепенно, ко времени отправки карателей, совсем выдохся. Зачинщиков, разумеется, всё равно нашли и казнили, но тоже без обычного в таких случаях азарта, не слишком изуверствуя и не мучая несчастных долгими пытками. Впоследствии Джучи даже не выслушал до конца доклада о том, чем там всё завершилось, а с кипчакскими послами не стал и разговаривать, велел только передать им, что принимает их в своё подданство. Дело в том, что к тому времени из Каракорума пришёл уже новый приказ, призывавший Джучи явиться в ханскую Ставку на глаза к отцу для участия в Большом курултае: Чингисхан умирал, и курултай должен был выбрать нового Великого хана. А он – Джучи – старший и любимый сын и, следовательно, один из главных преемников.

Джучи не поверил. Перечитал ещё раз и не поверил ещё больше. Отец не спрашивал о делах на Западе, о том, до каких пределов расширен улус, не требовал отчёта о потерях. А значит, он знал, что никаких серьёзных дел на Западе нет, что улус едва перешагнул через Иртыш и что отчитываться, собственно, не о чем. А значит, он, Джучи, здесь у себя, в своей ставке, окружён отцовскими наушниками и шпионами, и значит, тогда, когда он со своей соколиной охотой полетел на восток, а его нукеры на запад в кипчакские степи, его слова о безрассудстве Чингисхана – полетели на юг, в Каракорум. А значит, Чингисхан не умирает, а просто хочет заманить его к себе, чтобы наказать. Выборы хана только предлог, а слова о старшинстве и отцовской любви – приманка, хотя они-то как раз и правдивы, но Великим ханом ему всё равно никогда не быть. Братья его не примут: проклятье «меркитского плена» его матери, словно чёрное солнце, висело, и будет висеть над ним всю жизнь. И только отцовская любовь Чингисхана защищает Джучи от него. А не станет отца – это солнце испепелит его.

Джучи перечитал письмо ещё раз и всё-таки решил не ехать. Отцовского гнева он не боялся – он слишком верил в его любовь и знал, что если он и накажет его когда-нибудь – и за этот отказ приехать на выборы хана, и за невыполнение приказа о походе на Запад, и за слова об осиротевшем рассудке, – то не слишком сурово. В государстве, где всем всё запрещено, должен быть кто-то, кому всё разрешено. И этим человеком кроме самого Чингисхана был ещё и он – Джучи. Своим отсутствием на Большом курултае, если таковой вообще будет иметь место, Джучи прежде всего хотел показать своим младшим братьям – Чагатаю и Угэдэю, – что он не хочет быть Великим ханом, не хочет междоусобной войны, не хочет превращать семейную тайну и распрю в государственное дело. Пусть это «чёрное солнце» висит над ним, пусть оно даже испепелит когда-нибудь его и его потомков, но над самой Великой

Ордой оно никогда не должно взойти: Великим ханом в Каракоруме может быть только тот, на которого не падает даже тень тени сомнений, что по крови он не истинный чингизид. Иначе – зачем тогда всё?

Чагатай и Угэдэй – чингизиды без тени сомнений. И если Джучи уступит им, то, возможно, в будущем, когда кто-то из них станет Великим ханом, они вспомнят, что всех троих родила всё же одна мать и уж это-то точно неоспоримо, и тогда тот, кто будет Великим ханом, может быть, навсегда погасит это «чёрное солнце».

Так рассуждал Джучи-хан, первенец и любимый сын Чингисхана от любимой жены Бортэ, который родился почти сразу после её освобождения из годичного без малого меркитского плена.

## 26

Довольный таким своим решением Джучи-хан написал отцу, что болен и не сможет приехать на Большой курултай, и тут же велел закладывать свою любимую соколиную охоту. После столь трудных и тяжких размышлений и непростого решения, принятого им, он должен был окунуться в бешеную скачку, забыться азартом погони, надышаться степным ветром. Он понимал, что шпионы, приставленные к нему, разумеется, передадут Чингисхану – сын его на самом деле не болен, а развлекается охотой, но и это входило в его планы: другого способа донести до отца, что он не желает быть Великим ханом, у него не было.

Единственное, в чём ошибался Джучи, было истинное положение дел в Каракоруме: Чингисхан и правда умирал. Но смерть не была желанной гостьей – слишком много незавершённых дел оставалось здесь. Чингисхан умирал, но хотел жить дальше. Тело уже почти не слушалось его, но рассудок не покидал до самого конца – здесь Джучи тоже ошибся. И этим рассудком Чингисхан рассудил так: вызвать Джучи к себе, потом, во что бы то ни стало, на Большом курултае утвердить его преемником, несмотря ни на какие слухи и недовольство младших сыновей, а потом, оставшись с ним наедине, якобы для передачи секрета власти... Здесь мысли разбегались в испуге, словно дикие козы, в глазах темнело, а сердцу будто бы снился давний кошмар из детства, когда ещё совсем ребёнком забыли его в степи и вдруг стало так тихо кругом, что ему показалось на мгновение, что степь обезлюдела и он, такой ещё маленький и беззащитный, остался совершенно один на всей земле – от океана до океана.

Темучин потянулся за чашкой кумыса, но руки не слушались, и пока донёс до рта – расплескал больше половины, а когда всё же пригубил, то кумыс оказался не сладким, а горьким как полынь. И тогда он понял, что время пришло, и на этот раз смерть с ним не шутит. И тогда полетели из Каракорума гонцы на север, в улус к старшему и непослушному, но любимому сыну – Джучи-хану, который совсем изнежился и позабыл дела без отцовского присмотра и все дни напролёт развлекается то охотой, то пирами, то потешными штурмами снежных крепостей на Иртыше.

## 27

Значит, ещё раз: вызвать к себе, на Большом курултае во что бы то ни стало заставить младших присягнуть, а потом, оставшись наедине, якобы для передачи секрета власти, обнять, прижать к сердцу, а потом... Здесь мысли снова разбегаются, словно дикие козы, а трусливее

животных нет на свете. Но вот загонщики с гиканьем и улюлюканьем сгоняют стадо, гонят их, а куда гонят? Что так жалобно поют?

Ещё раз: вызвать к себе, на Большом курултае, несмотря ни на что, утвердить, в Кунсткамере например, младших – присягнуть, оставшись наедине, якобы для, обнять... Вызвать к себе, а он – не едет! Шлёт депешу, что болен, простудился при взятии снежного городка! Провалился под лёд на Иртыше! Вот и вызвал к себе! А следом другая депеша – шлёт соглядатай – нет, не болен! Снова на охоте! Неужели умирать? Или самому ехать? Но как?

Кто там воет? Яшка? Прошка? Пошли вон!

Когда-то давно...

Когда-то давно, в Кунсткамере например... Нет, не то...

Откуда он вообще знал про океаны? Всю жизнь в степи! Дались ему эти океаны!

Когда-то давно... Говорил же – подохнет!.. Уйди!

На Большом курултае, на Большом курултае... вызвать к себе... А вот не едет он, и всё! Неужели догадался? Тут, Чингис, понимаешь, как в шахматах – дошёл до восьмой линии и превратился снова в фигуру, в какую хочешь. Ты в какую хочешь? Снова быть Великим ханом? Ещё лет тридцать к своему веку прирезать и пирогом заесть? Ну, тогда только самому ехать. Самому до восьмой линии добираться.

Но как? И с кем?

Был у него один нукер – вернейший из верных – Каюм-бек. На всё готов. В огонь и воду! Дать ему под начальство тумен, нет – два. Два тумена. И послать на Джучи-хана, за послушание. И чтобы привёз его живого! Сам поведу! Живого! Сюда! В Каракорум! В Кунсткамеру например! А Каюм-бек пусть пока здесь остаётся – сторожить, вместо меня, в моём старом халате. Пока мы там двумя туменами Джучи-хана ловим. А? Хорошо придумал? То-то же!

Когда-то давно, когда-то давно... Заладил, как попугай. Ну что там давно-то?

Когда-то давно, когда ещё Чингисхан не был Чингисханом, а был Темучином, меркитский шаман в обмен на клятву, что он, Темучин, сохранит жизнь первенцу Бортэ и воспитает его как родного сына, научил Темучина сокровенному искусству «перемены халата»: вот, видишь, как просто. Поэтому и не был убит Джучи, а наоборот, прославлен как любимый сын и воспитан как наследник.

## 28

Но был у Чингисхана и Бортэ кроме Джучи, Чагатая и Угэдэя ещё один, четвёртый сын – Толуй. Самый младший, красивый, как девушка, и хитрый как лиса, и который, в отличие от старших, сидевших по своим улусам, всегда жил при отце, в Каракоруме.

И когда Каюм-бек со своими двумя туменами скрылся на севере за горизонтом, а Чингисхан совсем обезумел и только тарашил глаза, дрожал и плакал, как дитя, и не мог сказать ни единого разумного слова, Толуй, посмотрев на всё это, отдал два приказа. Во-первых, он распорядился никого, кроме их четверых, сыновей Бортэ, и даже её саму, не допускать к отцу – никто не должен был видеть и знать о том, каким безумным и жалким стал теперь владыка степей и хозяин Каракорума. А во-вторых, понеслись на север, вслед за Каюм-беком и обгоняя его тумены, сизые соколы, да пегие степные лисицы, да ушастые монголь-

ские волки, да строгие юноши на резвых арабских скакунах. И все они должны были передать соглядатаям Джучи-хана только одно: междоусобной войны в Орде допустить нельзя, Каюм-бек и Джучи-хан не должны встретиться ни при каких условиях, и если для этого понадобится навсегда погасить «чёрное солнце», то надо будет не печалиться, а сделать это. К этим словам Толуй приложил тамгу своего отца, потому что никому Чингисхан не доверял больше, чем ему.

И всё вышло так, как задумывал и приказывал Толуй. К тому времени, когда Каюм-бек со своими двумя туменами вторгся в пределы улуса Джучи, самого Джучи-хана уже не было в живых: то ли погиб на Иртыше при взятии снежного городка, то ли поднесли ему отраву, то ли на охоте стрела, выпущенная им, обогнула Землю и вонзилась ему же в спину. Рассвирепел тогда Каюм-бек, лютой смертью хотел казнить всех советников Джучи за то, что не уберегли своего господина, а ему под нос тамгу Чингисхана суют. А у него – такая же, да только у них – раньше!

Нечего делать – кинулся Каюм-бек обратно в Каракорум. А и туда хода нет! Встретили его, наградили даже, что без войны обошлось, тумены, правда, отобрали, а к Чингисхану – всё одно – не пускают! И ещё два года, пока Чингисхан не умер – не пускали! И даже никто из его сыновей – ни Чагатай, ни Угэдэй, ни Толуй – не допустил Каюм-бека к себе на глаза.

С тех пор и бродит Темучин по степи, «меняет халаты», ищет свой.

Такую вот историю, цокая языками да прихлёбывая плотный, как бульон, обжигающий чай с бараньим жиром, рассказали Нехлебову монголы Яшка Ячмень да Прошка Пшено, а они её знали из *сокровенного сказания*, которое слышали от своих отцов, а те – от дедов, а те – от прадедов, а те – от прапрадедов, а уж те – знали всегда.

Здесь хотя бы тепло, три раза в день дают немного еды, и не надо никуда идти. Днём, если погода позволяет, разрешают погулять в больничном парке. Он довольно большой, и при известной доле воображения можно даже представить себя в лесу. Если бы не скамейки и указатели, которые иногда попадаются то тут то там на разных тропинках и аллеях, то сходство было бы полным. Сама больница – бывший царский госпиталь Верхнеудинского лейб-гвардии Е. И. В. уланского казачьего полка. «Бурятского гусарского», как его называли местные острословы. Самого полка, разумеется, давно нет, хотя говорят, что начальник бригады санитаров, некто Шнайдер, человек гигантского роста, когда-то служил в нём офицером. Но это вряд ли: Шнайдер не похож ни на улана, ни на офицера, ни на казака, ни на тем более бурята. Больше всего он похож как раз на санитаря: огромного роста и огромной же силищи и, говорят, продолжает до сих пор расти. Яшка и Прошка, кстати, тоже прибились к санитарам: санитаров не хватает, а они ухватистые, ловкие и безотказные, хотя по-русски и ни бум-бум, к тому же согласились работать просто за еду и проживание. Главный врач, Осип Андреевич, на них не нарадуется и велит Шнайдеру беречь их. Про Осипа Андреевича, кстати, тоже интересный ходит слух. Говорят, что он когда-то участвовал в знаменитой экспедиции по поимке барона Унгерна, которая закончилась, впрочем, почти комическим провалом: напав-таки на след всеми уже покинутого барона в одном из буддийских монастырей Внутренней Монголии, командир экспедиции,

вроде бы проверенный, испытанный большевик, после личной беседы с Унгерном переметнулся на его сторону, стал его верным соратником, и было уже задавленный и усмирённый мятеж вспыхнул с новой силой. Да какой! Барону удалось собрать армию – Азиатскую дивизию – захватить с её помощью Ургу, восстановить на престоле богдыхана и замахнуть аж на реставрацию империи чингизидов «от Тихого океана до Каспия»! Всему этому, впрочем, не суждено было сбыться, да и участие Осипа Андреевича в той экспедиции – сомнительно. Как бы он, скажите на милость, выбрался, например, обратно?

Пациент, которого привели с собой Яшка и Прошка, понимал и по-русски и по-монгольски, всё твердил про какой-то украденный у него халат, но в принципе был тихим и безобидным. Выглядел он как старый монгол или бурят, лет семидесяти, хотя и назвался почему-то русской фамилией Нехлебов. Иногда во время прогулок Яшка и Прошка, если не были заняты с другими пациентами, сопровождали его или даже навещали в палате и о чём-то разговаривали с ним по-монгольски. Однажды они сообщили ему, что на днях в Новониколаевске был расстрелян барон Унгерн, перед тем успевший поговорить наедине с комиссаром, который специально приехал из самой Москвы, чтобы допросить его, и теперь хорошего не жди, и потому они проживут здесь, в Верхнеудинске, ещё только эту осень и следующую зиму, а весной непременно уйдут в дацан. Это почему-то очень сильно расстроило старого монгола – до такой степени, что он даже пожаловался на Яшку и Прошку главному санитару Шнайдеру. Главный санитар Шнайдер, однако, ничего не сказал, а только задумчиво поскреб огромной ручищей щетину на своём подбородке.

С этих пор старый монгол, называющий себя русской фамилией Нехлебов, стал каким-то беспокойным, слезливым и ужасно навязчивым. Ко всем встречным и поперечным он пристаёт с постоянными жалобами на кошмарный сон, который неотступно мучает его. В этом сне он каждую ночь пытается застрелить человека, уезжающего от него верхом по степи во главе небольшого отряда. Каждую ночь он стреляет ему в спину из винтовки и каждую ночь промахивается потому, что клубы пыли, которые поднимают за собой скачущие лошади, мешают ему как следует прицелиться. Но он твердит, что должен непременно убить этого человека потому, что именно этот человек украл у него халат. Он до того надоел всем с этим своим украденным халатом и этим вором, которого он каждую ночь пытается застрелить, что никто уже не слушает его, и даже Осип Андреевич отмахивается или старается нырнуть в какую-нибудь палату, если видит его в коридоре идущим ему навстречу.

Только главный санитар Шнайдер почему-то ещё терпеливо относится к этому бреду. Временами он даже специально заходит в палату к Нехлебову, садится на кровать напротив и просит снова рассказать этот сон, и слушает внимательно, и всё трёт огромными своим ручищами лоб, словно тоже пытается что-то вспомнить, и всё повторяет одно только слово: «...например, например, например...»